

ЭКСКЛЮЗИВ ДЛЯ «ВМ»

Не знать Игоря Губермана не солидно. Так что если у кого с данным туго, не надо это декларировать. Не зачтется уважительной причиной незнания и тот факт, что с 88-го года он — житель Иерусалима... И не то чтобы сам туда рвался, просто обстоятельства в образе родной страны, «где так вольно дышит человек», вынудили. Уехать его звали и раньше лет эдак на несколько, но тогда он отказался, отдавшись очередным «гариком». А «гарик» (далее без кавычек), если кто не в курсе, это бесчисленные и сочные плоды губермановского творчества; четверостишия (реже — двустушия), меткие и разящие, как пули со смещенным центром. Со смещенным — потому, что центр гарика приходится аккурат на четвертую строчку.

Грешным делом, хотел поинтересоваться, как гарики поживают, сколько их полку прибыло. Но в процессе общения вопрос отпал сам собой: стало ясно, что стабильности и качеству «производства» гариков может позавидовать даже ВПК и никакой творческой конверсии они не подвержены, хотя их автор порой обращается к прозаическим жанрам.

«Почту за честь!» — так ответил на просьбу об интервью для «Вечерки» Игорь Губерман, поэт и писатель (что синонимично — философ, историк, врачеватель душ).

— Игорь Миронович, в свое время вы написали: «...я выжиг, пройдоху и прохвост, когда имею дело с государством». Подразумевалось государство рабочих и крестьян. А каковы теперь ваши отношения с государствами — с Израилем, с Россией?

— С Россией у меня нет никаких отношений. Да и государством ее пока нельзя назвать — так, взбалаченная стихия. И с Израилем тоже нет отношений. Это свободная страна, у нее другие функции... Многие уехавшие сюда, несмотря на материальное благополучие, стонут от разрыва с родиной. Но я же и моя семья полюбили эту землю, и теперь я, безусловно, израильтянин.

— А как же корни, творческая подпитка? — Как русскоязычный литератор, я что-то, конечно, теряю. Но все главное в творчестве я черпаю из самого себя, из книг, из общения, из событий. Из воздуха.

— Задел ли ваше творчество распад коммунистической империи?

— Нет. Я ведь не участвовал ни в собирании СССР, ни в его развале. Жил своей жизнью.

Правда, из-за распада империи пропало название моей главы о питье: «Не стесняйся, пьяница, носа своего — он ведь с нашим знаменем цвета одного». Какое уж тут теперь знамя... Пришлось назвать иначе: «Поскольку истина в вине, то часть ее уже во мне».

Главное в питье — эффект начала, надо по нему соображать: если после первой полегало, значит, можно смело продолжать.

Поездил я по разным странам. Печаль моя, как мир, стара: Какой подлец везде над краном повесил зеркало с утра?!

— Радует ли вас приподнившаяся, но немалая известность на родине? Если да, то просто ли это радость автора, чьи книги наконец-то попали по адресу, или на ней все-таки есть пыльца злорадства?

— Боже упаси! Я благодарен советской власти за все пережитые мной приключения. Но свою радость я в таких масштабах не рассматриваю. Я — чудовищный эгоист, и это обыкновенная радость графомана.

— Плюс, конечно же, популярность...

— Это своеобразная штука. Однажды шел я по улице с женой и дочерью, подбегает молодой человек с живыми такими глазками: «Я вас сразу узнал, вас нельзя не узнать!» Кошуся на своих — дома-то об меня ноги вытирают — мол, смотрите, с кем живете. Он дальше: «Вы такой известный человек, я вас сразу узнал. Вы... драматург Семен Злотников».

— Эх, вот кабы всплеснуть руками да задать дурацкий или риторический вопрос: как вы пишете?

— Гм... На своих выступлениях я честно предупреждаю, что иногда пишу вместе с классиками. Было единое культурное пространство, и по нему гуляло (и гуляет) множество популярных заученных цитат из классических произведений. И грех пройти мимо, не использовать их в своем творчестве. Вот что я сочинил с Некрасовым:

Только у нас, в наше время сердечное можно об этом мечтать: сея разумное, доброе, вечное, тоже посаженным стать.

С классиками сотрудничать непросто, но всегда я справляюсь и делаю четыре строчки. Уже лет 30 ходит считающееся бесхозным, фольклорным наше с Некрасовым двустушие:

В лесу раздавался топор дровосека: мужик топором отгонял гомосека.

— Ну вот мы исподволь перешли к теме дружбы, любви...

Дряхлеет мой дружеский круг, любовных не слышится арий, а пышный розарий подруг уже не цветник, а гербарий.

— А если серьезно?

— О любви уже сказано столько серьезного; что я могу добавить? Это объективная реальность, данная нам в ощущениях.

Целебен утешения бальзам... Ловил себя на мысли я не раз, что женщины отказывают нам, жалея об отказе больше нас.

— В десятку! Хотя до ощущений дело не всегда доходит. Но сейчас полно медицинских веяний, дескать, любовь это своего рода наркотик или психическое заболевание...

— Чуть собачья. Веяний было до хрена во все столетия, а любовь оставалась.

Я никак не пойму, отчего так я к женщинам пагубно слаб: может быть, из ребра моего было сделано несколько баб?

Но если о любви — серьезно, то я очень люблю свою тещу и проклятую этому. С тещами вообще столько всего связано! Как-то мы с Гердтом разговорились о тещах (он тоже любил свою тещу, чистого и наивного человека). И Гердт показал фотографию, привезенную приятелем из Америки. На ней — объявление в аптеке следующего содержания: «Чтобы приобрести цианистый калий, нужно иметь не только фото своей тещи, но и рецепт». Мы посмеялись, а теща Гердта вдруг говорит, имея в виду приятеля и его тещу: «Неужели она была такая плохая, что он... хотел отравиться?»

— Игорь Миронович, вы бываете в России нечасто, но не возникает ли у вас впечатления, что страна, Москва стали похожи на одну камеру, где по беспределу тюремного начальства оказались вместе совершившие абсолютно разные преступления — от случайных новичков-несмысленнейшей до матерых рецидивистов?

— Здесь так было всегда. Всегда были лагерные повадки и замашки. Не случайно у всех этих секретарей райкомов существовало очень важное — точно так же, как и у паханов — понятие «свой человек»... Российская матрешка: мы жили в лагере мира и социализма, внутри его были еще лагеря, в которых — лагеря поменьше, а в них — бур, шизо и т. д. Паханская система. Так и было. Просто сейчас все это вылилось на поверхность.

В первый тот субботник, что давно датой стал во всех календарях, бережно Ильич носил бревно, спиленное в первых лагерях.

— Когда вы «топтали зону», вы были как бы на двух работах...

— Да, и там я сочинял. Кстати, скоро выйдет сборник гариков на камерно-лагерную тему... А в лагере знакомый врач, тоже эзк, ночью лускал меня в санчасть, где я работал: до трех утра записывал воспоминания, разговоры. А чтобы мои записи не обнаружили, я сделал тайник — завел в санчасть две карты на несуществующих заключенных. (Воспользовался фамилиями посадивших меня следователей, придумав им страшные болезни.) Ходил я невыспавшийся, но довольный, и наш лейтенант говорил мне: «Губерман, ну че ты все лыбишься? Отсиди серьезно — потом, может, в партию примут».

А один старый эзк-убийца спросил однажды: «Пишешь про нас?» Уйти от ответа являлось бы неуважением. «А напечатать?» — «Да!» — «Тогда потом просись в наш лагерь. По второму разу сидеть будет легче»... Книга появилась — «Прогулки вокруг барака».

— Вы впоследствии встречались с теми, с кем сидели; с теми, кто вас посадил?

— Последние — винтики и тоски по ним я не испытываю. А с теми, с кем на зоне... Нет, хотя делал попытки.

Я встречался с другими бывшими эзками, с теми, кто помнил по лагерю в Ухте Николая Бруни — героя моей новой книги «Штрихи к портрету». (Она лежала в издательствах восемь лет и неделю назад вышла.) Бруни — это древний православный род. А Николай Бруни — уникальный человек с удивительной судьбой: поэт, художник, резчик по дереву. Невероятная разбросанность натуры — играл в футбол за сборную Петербурга, был конником, пловцом. Окончил консерваторию, сочинял музыку. В дальнейшему стал авиаконструктором.

В первую мировую был летчиком, трижды Георгиевским кавалером. В бою и сбит, и все его уже оплакивали... И вот лежал он, мешок костей, и все его было ему видение: явилась дева Мария. Стояла молча у кровати. Он сказал ей: «Жить хочу, пресвятая дева-заступница. Много идей, планов; очень жить хочется. Если выберу, всю свою жизнь посвящу служению твоему сыну». Уже через полтора месяца он ходил. Случай его описан в медицине. Обет свой он исполнял до самой смерти — в 38-м его расстреляли...

Читайте книгу.

На свете жить с азартом так опасно, повсюду так рискованны пути, что понял я однажды очень ясно: живым из этой жизни не уйти.

— Игорь Миронович, позвольте задать вам еще один вопрос, национальный...

— У евреев есть уникальное свойство — смеяться над самими собой. Наверное, именно оно помогало нам выживать во всех жутких потрясениях... Еще до евреев часто слышишь что-то, что сразу хочется зарифмовать. В Харькове на концерте подошел ко мне один еврей и на ухо говорит: «Где справедливость, нет справедливости...» И молчит. Я тоже молчу: из психиатрии знаю, что если незнакомый человек подойдет и скажет, к примеру, «пряля наша Дуня», то надо ответить «да, да, пряля» или молчать, потому что иначе последствия непредсказуемы. Я молчал, а он говорит: «Справедливости нет. 15 лет назад я записал своего сына русским — так было надо — за 300 рублей. Теперь времена изменились, но в той же конторе просят уже 300 тысяч. Я, говорю, понимаю, что деньги изменились, но что ж так дорого? А они: обратно — дороже». Вот такие фразы, случаи мне иногда удается превращать в стихи, иногда — нет.

Мифотворческая национальная логика... ее нельзя придумать.

Не золото растить, сажая медь, не выдумки выщелкивать с пера, а в гибельном пространстве уцелеть — извечная еврейская игра.

— Есть ли у вас посвящения перестройке?

— Дразниться издаека нехорошо. К тому же я долго не знал, можно ли, удобно ли это читать. Из таких сомнений меня вывел один мужик.

Случилось это на гастролях в Америке. Некоторые бывшие советские там собираются вечерами, пьют, кланут Америку за бездуховность и вспоминают то, что якобы у них было в Союзе. И вот один, проживший полжизни в коммуналке с корытами на стене, все время «вспоминал» о своей трехкомнатной квартире. Уже сам поверил в ее существование. И однажды, чтобы убедить — и меня, и себя — в ценности оставленного на родине, он вдруг добавил: «А какие одеколоны я там пил!»

Вожди России свой народ во имя чести и морали опять зовут идти вперед, а где перед, опять соврали.

Во время обоих путчей мы там не отлпали от телевизора. Показывалась и хроника. И меня дико поразило среди нынешних начальственных лиц обилие людей из той, советско-партийной и всякой профсоюзной власти. Я не знал, что их столько осталось. Мне позвонили (осень 93-го) с русской службы Би-би-си: про первый путч ты стишок сочинил, а про второй? Есть, говорю, но вы его не используете... Не использовали. А стишок просто передавал мое удивление:

Секретари и председатели, директора и заместители... когда их шлюк к е... матери, они и там руководители.

— Вопреки сла-достной опаске спрошу у вас про наши реформы...

— Прогнозов я не делаю и в реформах не разбираюсь. Но

мне один человек объяснил: «Когда мужчина приходит к женщине и садится пить чай, это нормально. Когда он приходит, снимает штаны и ложится в постель, это нормально. Но когда он приходит, снимает штаны и садится пить чай, это ненормально. А это и есть российские реформы». Но насколько это правильно, судить уже вам, а не мне.

Когда однажды целая страна решает выбираться из гавна, то сложно ли представить, милый друг, какие веют запахи вокруг?

— Кстати, почему это емкое слово вы всегда пишете через «а»?

— Потому что словарное слово «говно» (произошедшее от слова «говяд») ничуть не соответствует замечательному раскатисто-московскому слову «гавно», когда мы имеем в виду определенного рода людей. Это разные слова... Так мы о реформах?

Всеведуц, вездесуц и всемогуц, окутан голубыми небесами, Господь на нас глядит из райских куц и думает: раз... бывайте сами.

— Нет, мы говорим уже о словах. У вас нередко используются «старые слова» на буквы б, е, м, п, х. Вроде бы в них буквы обычные и звуки те же, что и в других словах, ан нет: они как прокаженные, и люди, словно сговорившись, избегают их употреб... ну вот, чуть было не сорвалось...

— Это второй момент, о котором я предупреждаю на своих выступлениях. Когда-то Юрий Олеся сказал: «Ничего не видел смешнее, чем написанное слово «жопа». А сегодня и журналы, и эфиры стали вполне терпимы к этим терминам, когда те не являются самоцелью. Все дело в умении и красоте употребления. Да, некоторые болезненно относятся к нецензурной лексике. Но зачастую дело тут не в ханжестве, а в богатстве воображения: люди за конкретным словом сразу видят предмет или процесс.

Мне рассказывали про одну домработницу, которая стеснялась произнести слово «яйца». И возвращаясь с рынка, она докладывала хозяйке: «Я купила хлеб, масло, сметану и два десятка их». Ну и чтоб закрыть тему, расскажу анекдот... Старушка занемогла. Ей посоветовали обратиться к гинекологу. Врач, молодой еще парень, помог ей. А старушка и спрашивает: «Сынок! А мамка-то твоя знает, чем ты тут занимаешься?»

— Но вы пробовали сочинять «красивые» стихи?

— Как-то раз одна барышня заявила: «Мне не нравятся ваши стихи. Напишите лучше что-нибудь вроде «в хрустальном сосуде две розы цвели, и скрипки печальные пели вдаль». Ладно, говорю, попробую. Задача и вправду интересная и новая для меня. И начал: «А дама тосковала по нему и плакала, заламывая руки...» Тут я вышел на рифму «брюки» и на сопутствующие ассоциации. Вы, наверное, уже заметили, что мне все дело портит четвертая строчка.

По этой же причине я не стал детским поэтом.

— Что такое «выдавливает из себя раба» сегодня?

— Я не даю рецептов. И это не самая удачная фраза Чехова. Может, там контекст другой. Ведь вы помните: если в первом акте есть ружье, то в третьем оно обязательно выстрелит в плохой пьесе. А при цитировании слова «в плохой пьесе» каждый раз почему-то выпадает. И потом я столько встречал Чехова в зоне в виде лозунов и призывов... Из него всегда что-то не то выдергивают.

Как жить излагал нам науку знаковый настырный еврей. И я благодарно пожал ему руку дверями квартиры своей.

— Извините за банальный вопрос: каковы ваши творческие планы?

— Хочу составить сборник эпитафий. Сейчас коллекционирую их. Вот, например: «От жены и «Мосэнерго»; «Спи спокойно, дорогой муж, кандидат экономических наук». По-римски лаконичная: «Лежал бы ты — читал бы я». Такая еще есть, конца 10-х годов: «П. Ф. Комаровская, купеческая дочь, прожила на свете 84 года, 2 месяца и 6 дней без перерыва».

В эпитафиях есть какой-то мистический смысл. И они обладают какой-то странной силой. Это я по себе знаю. В начале 60-х пришел ко мне приятель. Дважды был женат, дважды неудачно (сейчас поймаем почему), и решил покончить с собой. Что ж, говорю, прощай. Отговорить тебя не сумею, но знай, что смерть твою я испохаблю, скомпрометирую какой-нибудь мерзкой эпитафией. И через день принес ему:

Деньгами, славой и могуществом пренебрегал сей прах и тлен. Из недвижимог имуществва имел покойник только член.

И произошло чудо. Человек выздоровел, завел семью, детей. Живет прекрасно.

Еще о планах... Стал сочинять о старости. Об относительной, конечно. Давид Самойлов замечательно сказал: «Старость это когда бутылку еще видишь, а рюмку — уже нет».

Увы, всему на свете есть предел... Облез фасад и высохла стропила. В автобусе на девушку поглядел — она мне молча место уступила.

Так что же он, Игорь Губерман? То, что не пророк, ясно. Поэзию его пророческой не назовешь. Прогнозов он не делает, рецептов не дает...

Но если серьезно — кто он? Философ (уже без скобок), историк, диагност, стихотерапевт, автор россыпи гариков — хулигански-мудрых, цинично-спасительных, горьковато-очищающих... Зачем он живет, куда идет, за что и отчего боль его? Да нужен ли тут конкретный ответ, если после встречи с ним начинаешь мыслить четверостишиями; если после его концерта даже самый непредсказуемый зритель пишет ему записку «Большое спасибо! Совершенно не жалею, что зря потратил время»; если...

И спросит Бог: никем не ставший, зачем ты жил? Что смех твой значит? — Я утешал рабов уставших, — ответу я. И Бог заплачет.

Спрашивал и внювал Дмитрий Орлов

Игорь ГУБЕРМАН:

«Живым из этой жизни не уйти»

